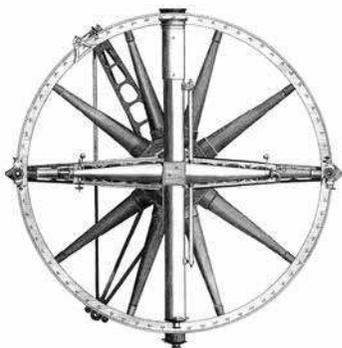


**Анатолий Субботин**

## *Велосипед*



**Е**сли бы двенадцатилетнего мальчика Ваню спросили, что такое счастье, он бы не задумываясь ответил: счастье — это когда у тебя есть велосипед. С блеском в глазах смотрел он на пацанов, гоняющих вокруг барака, где они жили, на двухколёсных красавцах. Конечно, его катали (на раме или на багажнике), ему давали прокатиться, но это было не то. Хотелось иметь с в о е г о, то есть постоянного, рогатого и поджарого друга.

И вот несчастное (с точки зрения Вани) детство кончилось. «Всё, Ванька, — сказал отец, — беру тебе с получки велосипед. Это тебе подарок на день рождения, ну и вообще...» Слово «вообще» могло означать только одно: больше ты такого дорогого подарка не увидишь. Обычно дарили какую-нибудь мелочь, в лучшем случае — игру, но

чаще приятное с полезным, по их, родителей, мнению, сочетая, — что-нибудь из одежды или обуви или школьно-канцелярскую принадлежность. А тут велосипед! Вещь в хозяйстве почти бесполезная, причём стоящая половину зарплаты.

Накануне того знаменательного дня Ваня долго не мог уснуть, а в самый день не мог дожждаться вечера, когда отец вернётся с работы. Наконец с крыльца он увидел: идёт! Идёт и несёт! Тут же, на крыльце, отец и сын освободили велочасти от промасленной бумаги, протёрли их сухой тряпкой. Собралась барачная публика: в основном, конечно, пацаны, но были и девочки, и несколько взрослых дядек. Родитель прикрутил к раме вилку переднего колеса, затем сами колёса, седло, руль, крылья, багажник и, как последний штрих велокартины, звонок

с рычажком сбоку. Потянешь за рычажок, и он — дзынь-дзынь. Звук слабый и не пугающий, так что пешеход может не обратить на него внимания, но, с другой стороны, велосипед — не машина, сильно не сшибёт. Ах, да, мы забыли сказать о цепи: конечно, она была надета на звёздочки, малую и большую. Есть такие аккорды на семиструнной гитаре: звёздочка малая и звёздочка большая; прибавим к ним обратную лесенку — и любая песенка из дворового репертуара спета. Накачав колёса и защебив правую брючину деревянной бельевой прищепкой, отец сделал пробу, признаться, весьма неуклюжую: петляя, хотя ещё не выпил (между тем бутылка уже ждала его на столе; какая получка без бутылки!), он проехал вокруг барака. «На, Ванька, — сказал он, неловко спешившись, — только осторожно: яйца не сотри». Пацаны засмеялись. Засмеялись по инерции, потому что не раз слышали эти слова и привыкли к подобному юмору. Замечание же отца основывалось на том, что велосипед был взрослый и явно Ване велик. Всё тут покупалось на вырост: ботинки — чтобы хватило года на два, костюм — на три, а пальто — и того больше. Впрочем, Ваня знал, что у него будет взрослый велосипед, более того, он хотел этого. Ничего, думал он, нынешнее лето проезжу на раме, а на следующее, глядишь, до седла дорасту. С умилением он смотрел на обрётённого большого друга, брюнета, по чёрной раме которого шла белая надпись «Урал». Обода и руль — под серебро, а седло и ручки руля потёмному коричневели. Встав левой ногой на педаль и оттолкнувшись, Ваня привычно перекинул правую через хребет железного коня. Каких-нибудь пару сантиметров не доставали ноги до педалей в их нижнем положении. И приходилось ёрзать. Со стороны это выглядело забавно. Но не менее забавным и неудобным был другой способ велокатания недорослей — под рамой, когда едешь, выгнув туловище на сторону, словно тебя скрючил паралич. Но разве придаёшь значение мелочам, когда есть главное — твой конь о двух колёсах, который не ржёт, овса не просит и так или иначе тебя везёт.

Солнце на спицах, синева над головой, ветер — нам в лица, обгоняем шар земной. Ну, шар не шар, а барак родной вокруг объедем. Стоит он двухэтажный и коричнево-чёрный, прокопчённый дымом угольным, увенчанный башенками кирпичных труб. Сейчас лето, и трубы не курятся, можно сказать, в отпуск они; но дай срок — и повалит из них дымина негроподобный, с крупными хлопьями сажи. От печи начнёт танцевать по комнате тепло, и ты заснёшь в субтропиках, а проснёшься в тундре, особенно если за окном ветродуй и за минус пятнадцать. И не захочется тебе высовывать нос из-под одеяла, но надо. Надо вставать, завтракать и идти в школу. Если выйдешь из подъезда, их два, но из какого ни выйдешь — непременно уткнёшься взглядом в ряд дощатых сараев. На каждую комнату (читай — квартиру) полагается сарай. А как же! Уголь и дрова, идущие на растопку, хранить где-то трэба? Кроме того, в хозяйстве не можно без хранимого здесь же инструмента, как то лопата, лом, топор, пила-ножовка и двуручная пила, шутиливо прозванная «Дружба-2», молоток и гвозди. Держали в сарае также велосипеды, мопеды и мотоциклы, а кое-кто — курей и поросят. На первый взгляд, это рискованно: пни ногой — доска в стенке отойдёт, залезай в проделанную брешь и бери что хошь. Но, надо признать, воровство было не в почёте. Жили бедно, но не воровали. Или почти не воровали. Мать, округлив глаза, не раз внушала Ване: «Никогда не бери чужого... Не смей брать чужого!» Что ты, мама, зачем мне чужое? У меня всё есть, вот даже велосипед. Я еду на нём вокруг барака, который стоит среди ему подобных, деревянных и почерневших, только малорослых, то есть одноэтажных. А два-три из них снаружи оштукатурены и побелены и притворяются каменными. Я еду мимо «забывающих козла» мужиков, мимо малышни, играющей в песочнице, мимо девочек примерно моего возраста (плюс-минус два года), с которыми пытаюсь держать себя нагло и высокомерно, но это получается плохо, так как на самом деле они сильно смущают меня. Особенно одна, соседка и одноклассница по имени

Таня. Чем же, чем же она его смущает? Да как вам сказать, всем своим обликом, что ли. Прежде всего, своим лицом. Да и фигура её кажется ему безупречной, несмотря на то что однажды, увидев её в окно, бегущую с ведром за водой на колонку, мать, улыбнувшись, заметила: «А Таня-то косолапенькая!» Ну и что? Что из того, если ноги немного колесом?! А нам нравятся колёса. Сейчас они проносят нас м и м о Тани, но настанет день, и мы ещё дёрнем её за косичку или толкнём как-нибудь, одним словом, сделаем ей больно, выражая тем самым, что глубоко к ней неравнодушны.

Пока мы катились вдоль одной стороны барака, на другой картина поменялась. Два мужика, дядя Боря и дядя Коля, решили померяться силой и, схватившись, покатались в пыли. Оборот — и дядя Боря уже сидит верхом на дяде Коле и, слегка придушив его, вопрошает: «Сдаёшься?» Глядеть на это весело и жутковато. Выходит, что взрослые вырастают только телом, а умом они остаются такими же, как мы, детьми и шалопаями. Вовка, неродной сын дяди Коли, жалеет отца, хоть и неродного, и так объясняет его поражение: «К о н е ч н о, дядя Боря сильнее, ведь он ест мясо, а мой отец — одну жареную картошку». Через некоторое время Вовка покажет Ване сеанс алхимии, покажет, как политуру из малярного средства можно превратить в средство алкогольное. Он будет лить её из бутылки на хлеб, освобожденный от корок. Пройдя сквозь этот фильтр, желтоватая и маслянистая жидкость станет явно жиже и прозрачнее. И всё же Ваня не рискнёт глотнуть её, хотя пробовать вино ему уже приходилось... Ещё велокруг — и представление даёт дядя Семён. С лестницы, ведущей на чердак, взобравшись до её половины, он держит речь, подражая Ленину. «Товагиши, в Петгоггаде геволуция, — картавит он, — Кегенский убежал в женском платье». Этот дядя Семён просто какой-то забулдыга, человек пропащий даже на фоне других всегда готовых заложить за воротник мужиков, и надо сильно исхитриться, чтобы увидеть его трезвым. Через года три он замёрзнет под заводским (ра-

ботал сторожем на заводе) забором. А пока, находясь уже на крыльце и приплясывая, он напекает: «Офицеров знала ты немало. Кортики, погоны, ордена. О такой ли жизни ты мечтала, трижды разведённая жена?»

Но что мы всё вращаемся, как Луна вокруг Земли, вокруг барака? Мы, конечно, к нему привязаны, но не настолько же. Можно поехать на юг, мимо общественной уборной типа «МЖ», дощатой и побелённой (слово «туалет» было неизвестно), где зимой, понятно, холодно, а летом сквозь дырки в деревянном полу видно, как в этом самом кишат буби — белые личинки мух. На них хорошо клюёт рыба, но Ваня недоумевает, как можно рыться в дурно пахнущих человеческих экскрементах. Позднее он узнает, что заядливые рыбаки поступают проще. Они подвешивают на тонкой верёвочке кусочек рыбы или мяса, продукт протухает, и мухи тут как тут. Через некоторое время созревший живой урожай остаётся только стряхнуть в банку. Мимо бараков и частных домов, по бездорожью переулка (осенью и весной не проехать, но сейчас здесь сухо) выехать на главную улицу городка — улицу Ленина, мощёную синеватой брусчаткой. А по ней — либо налево вверх, мимо школы, где учишься, и кинотеатра «Победа» («по» отпало, осталась «беда») ко Дворцу культуры, либо направо вниз — прямо к проходной машиностроительного завода, которая вывела в люди многих горожан.

А можно закрутить педали на север, и через какие-нибудь триста метров достичь забоя. Наверно, правильнее было бы называть это место «карьер», поскольку тут ведётся не закрытая, а открытая разработка (экскаватор тут копает глину для стоящего рядом кирпичного заводика), но народ кличет его «забоем», а с народом не поспоришь. Вот и Ваня ничуть не сомневается, и если вы скажите ему о карьере, он ответит вам: «Нет, Карьер — это соседний посёлок, где добывают щебёнку, а здесь забой». Ну, бог с ним, не в словах дело, а в сути. Суть же такова, что экскаватор всё время в поиске, и с годами оставляет за собой холмы и горки, с которых зимой хорошо кататься

на лыжах. Наденешь фуфайку, то бишь телогрейку, и шапку-ушанку, и варежки, и валенки наденешь, возьмёшь лыжи и выйдешь на крыльцо. Уроки сделаны. На душе и в природе ещё светло. Сунешь ноги в ременные петли, натянешь на щиколотки тугие резины, идущие от петель, так что нога без лыжи ни туда, ни сюда, и — вперёд, к забюю. Лыжных палок нет, да они и не нужны: ты же не на гонки собрался; твой удел, как сказал поэт, катиться вниз. И катишься. Заберёшься «ёлочкой» или «лесенкой» на горку и снова катишься. А то найдёшь искусственный или естественный трамплинчик, то есть холмик на пути спуска, и ну прыгать с него раз за разом, пытаясь побить личный рекорд. И скользишь вниз, присев, а на трамплинчике выпрямляешься. И кажется, летишь-паришь долго, но на самом деле — 3-4 метра, однако всё равно внутри радостно и трепетно. И опомнишься лишь тогда, когда плохо станет видно лыжню, когда ночь, как строгая мать, прогонит домой. Так уже в раннюю свою пору боремся мы по мере своих сил и возможностей со скукой жизни. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы оно не повешалось. А борьба со скукой кидает нас в другую крайность — ставит нас на путь страстей, вырастающих часто на пустом месте. Тяга к соскальзыванию настолько овладела Ваней, что и мороз ему не указ. Бывало, за окном — утро туманное, утро седое, ну, пусть не утро, а день, но всё равно — за минус тридцать, а мальчик одно что надевает шапку-ушанку и берёт лыжи. Мать ему: «Куда ты?! Не ходил бы ты, Ванёк, замёрзнешь». — «Не замёрзну, мама, — отвечает, — я же бегом». Однако от мороза не убежишь: старик вездесущ и молниеносен. Для начала он набрасывает тебе на лицо маску холода, и ты словно играешь самого себя, репетируешь свою будущую смерть. Челюсти твои сведены, земля под тобой скована, всё вокруг гулко и пустынно. Да, да, господа, в забюю ни души, лишь одному неймётся. Движение, конечно, немного согревает, прогоняет охочего до мальчишек старца из-под фуфайки, но из-под варежек, которые отсырели от при-

кладывания их к лицу, оно прогнать его не может. И скатившись несколько раз, мальчик, отморозивший пальчик (на ваш вопрос: какой пальчик? — ответим расплывчато: не главный), бежит восвоюси домой. Там он протягивает руки к печке, но в тепле их так начинает ломить, что хоть в снег их засовывай. Отец и говорит: «В холодную воду их надо, в холодную воду!» Но ничего не помогает, и минут 10 мальчик мечется по комнате, не зная, куда деться, и ревьёт белугой. Отходняк. Впрочем, летом в забюю делать нечего, разве что в одном из поросших тинной озёрец намать «малинку» — маленьких красных червячков — личинок комара, на которые хорошо клюют сорога и окунь.

Летом наши ноги (а теперь и колёса) устремлены, главным образом, на запад. Чем же нас влечёт запад? Хотите верьте, хотите нет — прудом. Рядом с заводом раскинулся он, и появился, как вы понимаете, благодаря заводу. Жила-была речка. Текла она себе свободно — куда глаза глядят. Но однажды пришли на её берег люди и перегородили её плотиной. И случился с речкой застой, и превратилась она в пруд. Не так ли и ты, народ? Живёшь-течёшь до поры до времени, пока не подступятся к тебе люди с корыстными лопатами и кирками. И превращаешься ты в пруд, который, если не чистить, оборачивается в болото. Вот тебя и чистят. И открывают периодически шлюз, чтобы выпустить излишки твоего недовольства. Хозяйственные люди заботятся о тебе, как о своей собственности. Но! РУШАТСЯ ПОРОЙ ПЛОТИНЫ, ПЛОТИНЫ ПОРОЙ РУШАТСЯ... Впрочем, на западе лежит не весь пруд, а только главная, так сказать, его площадь — примерно километр на километр. Частью своей он находится к северу от города, сразу за упомянутым выше забюю. Эту часть почему-то называют Собачником. Почему? Может, потому, что здесь любят купаться четвероногие друзья наши? Нет, Ваня бы такого не сказал. Коров, стоящих по брюхо в воде, да, наблюдать ему приходилось. Но ведь не Коровник, а Собачник. Остаётся предположить, что здесь топят лишние щенков, что вполне вероятно, так как се-

вер городка застроен частными домами, где многие держат собак. Или — менее правдоподобная версия: название сие произошло от стиля плавания, который пользует едва научившаяся плавать малышня, а именно — по-собачьи. Именно на Собачнике таким макаром поплыл Ваня впервые. Потом ничего, освоил более солидные методы — вразмашку и по-морски. Но более всего он любил нырять. Вдохнёт поглубже — и вниз, раздвигая перед собой воду руками. Однако на глубине холодно и мрачновато, и дно, как правило, не внушает доверия: какого хлама там только нет, начиная от топляков и кончая утопленниками. Поэтому Ваня предпочитал не опускаться на дно, а плыть в метре-двух от поверхности, плыть, пока лёгкие терпят. В этом, кстати сказать, уже виден характер мальчика, его жизненная, если хотите, установка, выраженная в склонности, с одной стороны, к уединению, а с другой — к нарочитой таинственности и желанию удивлять. Я, мол, конечно, пацаны, с вами, но оглянитесь вокруг — нет уже с вами меня. Где же я? Ушёл за хлебом и не знаю, вернусь ли. А то ещё была такая игра: заходили по пояс в воду и бросали на глубину металлические серебристые пробки от пивных бутылок. Их хорошо видно под водой и удобно собирать. «Нам пробки от пивных бутылок служили ориентирами на дне пруда и жизни. В мутной глубине нам ничего другого не светило». Кто больше соберёт, тот и победил... Где, любопытствуете, мы пробки брали? И смотрите на нас выразительно, выражая взглядом насмешливый риторический вопрос: что, мол, уже приходилось вкушать от запретного плода? В целом — да, отвечаем, скромно потупив очи, но немного, может быть, один раз, когда отец с соседом, дойдя до кондиции, вышли покурить-освежиться, а мы вбежали с улицы в комнату, томимые жаждой. Ну и глотнули не воды, а из недопитого стакана, где желтело разливное вино. Ощущения? Что ж ощущения: мир предстал каким-то странным, закутанным в цветной туман, что ли. Но я хочу досказать вам свою мысль: в целом мы откусили от запретного плода, но в данном конкретном случае —

нет. Денег на пиво у нас не было. Да и не продала бы нам, малолеткам, пиво тётенька-продавец. Так что мы попросту подбирали пробки на земле — близ столовой №6, которая стоит на западном пути к пруду. Летом внешние двери её всегда нараспашку, и, проходя мимо, слышишь человеческий гул, звон посуды и обоняешь смешанный запах приготовленных блюд. Иногда, когда у тебя в кармане бренчит (мать, например, дала полтинник, сказав: пообедай сегодня в столовой; а ты и рад, поскольку в общепите гость ты нечастый и тамошний харч кажется вкуснее домашнего), ты заходишь внутрь, в вестибюль, и на мгновение останавливаешься, как богатырь на распутье. Ибо в заведении — два зала: один (вход прямо) — собственно столовая, другой, левее, — пивная, где царят внушительные бочки, гранёные пол-литровые кружки, и дым коромыслом. Налево тебе ещё рано, и ты идёшь прямо. Прямо к буфетчице, если нет очереди, не минуя, конечно, меню, подходишь ты. И делаешь заказ. Например, говоришь: «Мне, пожалуйста, полпорции шей, котлету с пюре, компот и два кусочка хлеба». Буфетчица, она же кассир столовой (а почему бы ей не совмещать, народ ведь не толпится, разве что в обед), отбивает чек. С чеком и подносом ты следуешь к раздаче, где повторяешь: «Мне, пожалуйста, полпорции шей, котлету с пюре, компот и два кусочка хлеба». Мадам раздатчица сверяет твои слова с цифрами чека (ага, соответствует) и выдаёт тебе блюда. Из далёкого сегодня, когда всё наоборот, когда сначала стулья, в смысле щи, а потом уже деньги, это кажется странным и усложнённым. Но, видимо, это делалось с целью пресечь воровство. Хотя воровства, повторяю, почти не было. Каждый советский гражданин имел и использовал право на труд, и в портмоне у него если не шуршало, то, по крайней мере, звенело. Если пивная, продающая продукт на разлив, была закрыта или гражданину не хотелось разливного, он мог купить бутылку-другую «Жигулевского» прямо в столовой или в киоске, что работал от неё и рядом с ней в летнее время. Отсюда и вышеупомянутые

серебристые пробки, рассеянные тут и там, вокруг да около. Ну да хватит о них, довольно мы их собрали. А вот лучше не изволите ли подойти к заведению с тыла? Там располагается деревянный склад-сарай, но не он, конечно, нас интересует — что мы, сараев не видели?! Нас интригует дополнение к нему в виде сколоченного из досок загончика, откуда слышится какая-то возня, какие-то чавки и хрюки. Ба, глядим мы поверх ограды, ба, да тут содержатся живые и грязные существа с рыльцами-пяточками и верёвочками хвостов. А отъелись-то как на казённых харчах! Некоторые уже и встать не могут. Да, столовая — это не дом: обедков много, и сам бог велел вести при столовых подсобное хозяйство. Свиньи поглощают объедки, люди — свиней; безотходное производство получается. Нам неизвестно, как зовут этих общепитовских хрюшек, но мы точно знаем, что поросёнок соседа дяди Бори носит имя, как у хозяина.

Каждый год покупает дядя Боря поросёнка, и всем им даёт своё имя. А чего мудрить? Во-первых, что называется, и с похмелья не забудешь (ибо это сколько же надо пить, чтоб забыть, кто ты?!), а во-вторых и главных, называя животное, как себя, хозяин тем самым признаётся в любви к животному. И в самом деле, Ваня однажды наблюдал, как дядя Боря задавал поросёнку Боре корм. Он не просто ему корм задавал, он и территорию его почистил, и почесал его. И вообще боров Боря розов, как младенец, в отличие от чумазых его соплеменников из столовой. Но будь ты чистым частным поросёнком или общественной свиньёй — конец у всех один. Придёт неизбежный, как революция, ноябрь, и грязь схватится, и земля наденет к празднику белый наряд, да так и не снимет его до апреля. Двери сарая откроются, и дядя Боря впервые выпустит своего питомца на волю. Тот выскочит и, проведший всю жизнь в полутьме, ослепнет от белого света, усиленного снежным сверканием. Как же, оказывается, просторен и чудесен мир, вот только зябко немного! И ещё, что-то ещё мешает поросёнку впасть в полный восторг. Хозяин, как всегда, ему улыбается, но в этой улыбке по-

явилась какая-то примесь — примесь смущения. И в ласковом взгляде двух мужиков, что стоят рядом с хозяином, чувствуется что-то неладное, какой-то обман. И вот троица разделилась и стала заходить к Боре с разных сторон. «Боря-Боря-Боря!» — успокаивающе подзывает его тот, к кому всегда бежишь сломя голову, но сейчас подходить к нему почему-то не хочется. И что это за узкий длинный предмет блеснул на солнце в руке одного из мужиков, который пытается спрятать его за спиной? Блеснул так красиво и страшно. Вдруг хозяин бросается на Боря и валит его с ног. Боря визжит и вырывается, но ему мешают сделать это подоспевшие подельники хозяина. Все трое навалились на него всем телом. А тот, у которого в руке длинный острый (вы правильно догадались) кинжал, метит им под левую переднюю ногу поросёнка, схватив её другой рукой. О, как забилось сердечко в предчувствии невыносимой боли! Секунда — и грузное тело существа, предназначенного на съедение, передёрнула короткая судорога, красиво названная агонией. А за ней и огонь, синий огонь зашумел, вырываясь из лампы, чтобы освободить кожу от волосков. Но перед этим красная кровь хлынула из раны и растекалась лужей на притоптанном белом снегу. И наполнила кружку красная кровь, и дядя Боря отпил её, а подельники его не стали: их привлекал другой напиток — огненная вода, которая ожидала их после разделки туши. Да-да, судари мои, се ля ви. Любил ли дядя Боря своего четвероногого тёзку? Любил. И жалел. И зарезал. Что это — предательство? Нет, мы бы не стали бросаться громкими словами. Это то, о чём говорит народная мудрость: любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда.

Ваня, в отличие от дяди Бори, не любил покушать, и потому рос худеньким. Бывало мать ему: съешь суп, съешь второе, — но он в лучшем случае съедал что-то одно, обижая маму своим «не хочу». И лето ему нравилось ещё в том плане, что можно было не обедать. А намажешь кусок хлеба маслом, посыплешь сверху сахарным песком — и на улицу: бегать. Почему бегать, а не гулять? Ну посудите

сами: вы — пацан или девчонка, и что же, вы будете прогуливаться, как некий господин, как некая дама? Нет, вы то и дело будете переходить на бег. «Это было весною, зеленеющим маем, когда тундра надела свой роскошный наряд. Опасаясь погони, мы бежали с тобою от собачьего лая и от криков солдат». Впрочем, и зима Ваню привлекала, особенно Новый год. Ведь чем пахнет Новый год для детей Советского Союза? Правильно, конфетами и мандаринами. И ёлкой. Представьте, вы учитесь во вторую смену, пришли из школы домой. Время часов шесть, за окном уже темно. В квартире тоже таится таинственный сумрак, только отблеск огня играет на жести перед печью да в комнате горит настольная лампа, прикрытая абажуром. Вы, конечно, первым делом подбегаете к ёлке, которую вчера весь вечер украшали с родителями. Трогаете бьющихся и небьющихся (из папье-маше) зверей и птиц, игрушечные овощи и фрукты, Деда Мороза и Снегурочку. Любуетесь алеющей над всем этим, насаженной на верхушку звездой. Потом вы подходите к столу (он круглый) и высыпаете на скатерть из бумажного подарочного кулька его содержимое. Какое богатство, какое разнообразие! Помимо яблока и двух мандаринов, перед вами — разноцветная груда конфет: шоколадные, ирис, карамель. Многие из них сделаны на московской фабрике «Красный Октябрь», и хотя имя производителя набрано мелкими буквами, оно действует на вас не менее завораживающе, чем само название конфеты. Вам хочется попробовать и то, и это, но вы понимаете, что надо ограничить себя, надо растянуть удовольствие. Оранжевую мандаринку очищаете и съедаете вы. И ещё у вас сегодня по плану — две шоколадные конфеты, выбранные вами из сокровищницы. Сев на диван, вы откусываете половину «Кара-Кума». Вы гладите кота Ваську, развалившегося на диване, и думаете: хорошо, что кот не любит сладкого. Он любит валерьянку; она манит его, как манят мужиков вино и водка. И хотя у кота нет рук, однажды он умудрился достать пузырёк с ледкарством из комодного ящика, открыть и вылакать его. Вы кладёте в рот вторую полови-

ну конфеты. Вот он, смешанный новогодний запах — мандаринно-конфетно-ёлочный. Но — чу! — к нему прибавлено ещё что-то. Пахнет ещё чем-то сладковатым и терпким, и, как бы сказать, менее съедобным, что ли. Этот аромат струится от установки, перед которой на маленьком детском стульчике сидит ваш отец. Установка представляет собой табурет, на нём — включенная раскрасневшаяся электроплитка, на ней — большая кастрюля, где что-то шумит и булькает, а на кастрюлю надет жестяной цилиндр с трубочкой сбоку. Из трубочки в подставленную бутылку капает прозрачная жидкость. Папироса в зубах отца вспыхивает, и его профиль озаряется слабым светом, окутывается дымом. «Алхимик, чародей!» — думаете вы невольно и хотите угостить родителя конфетой, но вспоминаете, что он, как кот, не любит сладкого. Он выливает на табурет из бутылки немного жидкости и подносит к ней горящую спичку. Жидкость занимает синим пламенем. Чудеса! Отец встаёт, берёт ковш и, вычерпнув несколько раз из конусообразной верхней части цилиндра тёплую воду, заменяет её холодной, стоящей на полу в ведре. Капли, стекающие в бутылку, превращаются в сплошную тонкую струю. С довольным видом достаёт из буфета чародей стопку.

Международный день солидарности трудящихся выдался солнечным и тёплым. Он позволил пойти на праздник без пальто, фуражки и сапог. Он позволил выглядеть празднично. В отглаженном костюмчике, белой рубашке вышел Ваня на крыльцо. Там чистил туфли сосед сверху Толя Поляков, старше Вани лет на семь. Юноша уже намазал туфли кремом и, ожидая, пока крем впитается, курил. На нём тоже была белая рубашка и брюки в стрелочку, только красного галстука на нём не было, ведь он вышел из пионерского возраста. Бросив окурок, взял кусок войлока он. Черные «корочки» заблестели. Смотри, Ванёк! И Ванёк приблизил своё лицо к туфле. Оно там смутно отразилось. «Обувь — это лицо джентльмена», — сказал Толя. Ваня перевёл взгляд на свой ботинок, но тот ничего не отражал. Скорей бы мне вырасти,

взгрустнул пионер, стать таким же высоким и сильным, как Толя, красиво одеваться, гулять с девушками и нравиться им.

Грязь ещё не совсем просохла, но хоженные тропинки были чисты. Не запачкав ног, Ваня ступил на брусчатку улицы Ленина. Возле школы и внутри — движение, разговоры, смех, толкотня. Ученики разбирают первомайские аксессуары (кто транспарант или плакат, кто флажок, кто воздушный шарик, кто просто красный бант прикалывает на грудь) и выстраиваются перед зданием. Девочки в белых передниках несут бумажные цветы. Дети — это цветы жизни, припомнилось Ване изречение. «А какие цветы? — подумал он. — Конечно, живые... А вдруг да бумажные?! Вдруг ненастоящие?! Ведь поётся же в песне: из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки? Из, понимаешь ли, промокашек. Может, в самом деле я, как тот зайчик из папье-маше, вишу на ёлке, а кончится праздник, и меня уберут в коробку. Или, может, я стеклянный: упаду и разобьюсь. Но не надо о грустном, мне ещё рано о грустном: я ещё маленький». Взяв красный флажок, Ваня вышел из класса. Двери пионерской комнаты были распахнуты. Она являла собой небольшое узкое помещение, где посередине стоял длинный стол, стулья, а вдоль стен несколько шкафов. Шкафы были наполнены книгами, брошюрами, альбомами и рулонами ватмана. На столе царил всяческая канцелярия, как то: листы бумаги, ручки, кнопки, карандаши, кисти и краски. Тут же находились бронзовые статуэтки Павлика Морозова и маленького Ленина. Значительную часть стены карта области занимала. А на подоконнике единственного окна красовался глобус. «Не крутите пёстрый глобус, не найдёте вы на нём той страны, страны особой, о которой мы поём». А они и не крутят; в комнате собрались серьёзные ребята — активисты пионерии. Вожатая Людмила Алексеевна даёт им последние наставления. Уже во всеоружии стоят барабанщики и горнисты. На параде они пойдут отдельной группой, впереди всей школы. Горны будут трубить, барабаны стучать. «Ну, что встал в двери?

Проходи, — сказала Ване Людмила Алексеевна. — Иди, я тебе галстук поправлю». От её прикосновения по всему его телу прокатилась приятная волна. Хотелось взять её за руку, поправить ей что-нибудь тоже. Жаль, что у меня нет старшей сестры, подумал Ваня. С ней можно было бы устроить возню, невзначай прикоснуться к её груди. Вообще-то девушки, закончившие школу, казались Ване пожилыми, а вышедшие замуж и родившие ребенка — прямо-таки старухами. Но Людмила Алексеевна не была ещё замужем (кажется). После 10-го класса она осталась работать пионервожатой. И форма молодила её, делала почти ровесницей её подопечных, хотя девичьи формы, выпирающие, простите за каламбур, из формы, выказывали в ней странную, или скажем так, пикантную «пионерку». А знаете ли вы, господа, что деление женщин по национальному признаку неверно, поскольку все они персиянки? А персиянки они потому, что у всех их есть перси. «Отчего это я не горнист, не барабанщик? — думал Ваня. — Отчего я не вхожу в актив пионерской дружины? Тогда я мог бы оставаться после уроков и заниматься чем-нибудь общественно полезным вместе с этими ребятами под управлением этой красивой вожатой. Я бы помогал, например, выпускать стенгазету. Правда, я не умею рисовать. Но я мог бы сочинять лозунги и речёвки: «Мы, ребята всей страны, делу партии верны! Как повяжешь галстук, береги его, он ведь с нашим знаменем цвета одного». А возможно, иногда мы с Людмилой Алексеевной оставались бы в пионерской вдвоём. И, разумеется, делая что-нибудь, что-нибудь вырезая и клея, я бы просил её, как бы между прочим: «Людмила Алексеевна, почитайте, пожалуйста, про Павлика Морозова». — «Что это с тобой, Иоанн? — вопрошала бы она удивлённо. «Да так, — не выдержав её взгляд, потупив очи и слегка покраснев, отвечал бы я, — захотелось». — «Ну, хорошо», — и она взяла бы тонкую книжицу. И на голос её откликнулись-отозвались не только бы мои уши, но и всё моё тело. А когда она дошла бы до места убиения мужественного пионера и голос её

задрожал, я тоже задрожал бы весь в ответ». «Людмила Алексеевна, — взволнованно сказал Ваня, — примите меня в актив!» — «Так, а что ты умеешь?» — «Я умею петь». Зачем я это сказал, подумал он, ведь я совсем не пою. Но было уже поздно, и на её предложение что-нибудь исполнить он, как бросился в пропасть, запел: «Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше, только

утро замаячит у ворот, ты увидишь, ты услышишь, как весёлый барабанщик в руки палочки кленовые берёт». И — о, чудо! — он не узнал своего голоса: тот звучал звонко и красиво, почти как у Робертино Лоретти. «Молодец! Не ожидала, — восхищённо произнесла Людмила Алексеевна. — Что ж ты до сих пор скрывал свой талант? Нам нужны таланты».